

НОВЫЕ КНИГИ

Тереза Торанская
Якуб Берман

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ*

I часть

— В течение десяти лет вы были вторым человеком в государстве — мозгом партии и высшим авторитетом. Потом вас обвинили в тяжелейших преступлениях и в измене, выгнали и даже вычеркнули из энциклопедии.

— Это нормально. Раз прокляли, значит перестал существовать. Когда я был у власти, обо мне писали даже в Советской энциклопедии, а потом вычеркнули. Они всегда корректировали историю, а наши сейчас следуют их примеру. Гомулка, который все это затеял, не проявил по отношению ко мне великодушия. Наверное, не смог простить, что также под моим давлением он в 1948 г. вынужден был выступить с самокритикой. Когда дошло до голосования о моем исключении из партии, ты против голосовал я и еще около двадцати товарищей, большинство голосовало за. Исключение из партии было для меня шоком и величайшим оскорблением.

* Из книги Терезы Торанской „Они“. Этот сборник интервью с бывшими польскими коммунистическими деятелями был издан в Польше в нецензурном издательстве „Przedswit“. Интервью с Берманом, печатается с небольшими сокращениями.

— А что вы чувствовали в 1937–1938 гг. в Советском Союзе, когда там убивали коммунистов?

— Я считал, что террор периода больших „чисток“ — одно из последствий тяжелого международного положения СССР, а, возможно, и результат внутренних противоречий и колебаний Сталина, связанных, вероятно, с его болезненной подозрительностью. Я не искал объяснений, считая, что к огромным жертвам привело трагическое стечение обстоятельств. Естественно, и я пытался успокоить свою совесть, повторяя глупую поговорку: „Лес рубят — щепки летят“. В то время — в 1938 г. — мы часто повторяли ее, и некоторых она утешала.

В то время в СССР началась широкая „чистка“ и судебные процессы, запятнавшие историю коммунистического движения. Сомнения зародились у многих членов партии. Как представитель последнего секретариата ЦК Коммунистической партии Польши я часто бывал на собраниях, главным образом в интеллигентской среде.

— Почему именно вы?

— Тогда я не занимал высоких постов. Я руководил отделом по делам интеллигенции при Центральном объединении профсоюзов. Однако партия именно мне доверила разъяснение создавшегося положения. На этих собраниях члены партии выступали с аргументами, на которые трудно было возразить, так как московские процессы были подготовлены неумело и неубедительно. На скамью подсудимых сажали старых, заслуженных коммунистов и обвиняли их в том, что они были японскими, турецкими и, черт еще знает чьими, шпионами. С этим трудно было смириться.

Я считал, что если против них существуют какие-либо подозрения или улики, то надо их снять с работы или перевести на другие должности, но не судить. Для меня было загадкой, почему, например, Бухарин и Каменев признавались на суде в абсолютно нелепых грехах. Я думал тогда, что их уговорили поступить таким образом, апеллируя к их преданности партии, что им говорили: „Слушай, единственное, что ты еще можешь

сделать для партии, это взять на себя грехи подлинные и мнимые". В то время обвиненные еще не знали, что их казнят. Возможно, они считали, что надо признаться и выступить на суде. Они соглашались помочь партии, раз она этого требует, потому что служить партии для старых большевиков было не только целью, но и смыслом жизни. Думаю, что были использованы и другие приемы — в зависимости от характера того или иного обвиняемого: запугивали, морили голодом, угрожали мстять семье. И все-таки, я думаю, что личные испытания лишь дополняли главное — этого требует партия! Многих старых большевиков можно было запугать, заставить покориться. Но вряд ли они стали бы оговаривать себя, если бы этого не требовали вышшие, по их мнению, интересы.

На этих собраниях я пытался объяснить, что происходит в стране, обрисовать положение, разъяснить противоречивую ситуацию, в которой оказался Сталин, подчеркивал ошибки оппозиции, которые позже пропаганда раздула в обвинения. Однажды на собрании меня прижали к стенке, и я сказал: „Я напому вам слова Кати из „Воскресенья” Толстого, которые она крикнула Нехлюдову, последовавшему за ней в сибирскую ссылку: „Полюби меня черненькой, беленькой меня всякий полюбит”.

И действительно, тогда требовались самообладание и стойкость, чтобы „любить” несмотря ни на что. Я не буду сейчас вникать в суть идеологических споров, которые в то время происходили в Советском Союзе. Такие споры были неизбежны. Я не хочу выяснять, кто был прав — Сталин или оппозиция. Тогда аргументы Сталина казались мне более вескими, чем бухаринские, но это вовсе не значит, что Бухарин был шпионом. Я понимал, что измена возможна, но как единичные случаи, а в то, что все изменники, поверить так же трудно, как смириться с тем, что руководители компартии Польши, которых я знал лично, были объявлены изменниками и по обвинению в измене казнены.

Я утешал себя, что со временем правда станет известной и справедливость восторжествует.

— *Каким образом?*

— Путем реабилитации.

— *А как вы восприняли нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 г.?*

— Мы узнали об этом из официального сообщения, и оно потрясло нас. Трудно было в это поверить. Но мы понимали, что Советский Союз, заключая в августе 1939 г. пакт о ненападении, шел на компромисс не из любви к Гитлеру — они этого мерзавца видели насквозь, а для того, чтобы выиграть время. Сталин понимал, что СССР не готов к войне с Германией.

Я очутился в Белостоке на скромной должности инспектора по труду. Вербловский заведывал этой инспекцией и по старой дружбе взял меня к себе.

— *В энциклопедии Гутенберга написано, что в Белостоцком ведомстве, включая Ломженский район, жило в то время 1. 004. 370 поляков, 162. 912 евреев и 119. 332 белоруса. В Белостоке 39. 602 еврея, 35. 832 поляка и 1. 358 жителей других национальностей. С каждым месяцем эта пропорция изменялась — поляков становилось все меньше и меньше. Их арестовывали и отправляли в лагерь.*

— Да, в предвидении войны с немцами Советы старались „очистить” эту территорию от подозрительных элементов.

— *Война? Ведь они дружили! В декабре 1939 г. Сталин, благодарил Гитлера за поздравительную телеграмму по случаю своего дня рождения, заверяя его в „советско-немецкой дружбе”, спаянной совместно пролитой кровью (наверное, в Польше), а в июне 1940 г. Молотов, после захвата Франции, поздравил Гитлера с великой победой. А в апреле 1941 г. Сталин лично приехал на вокзал (чего прежде не случалось) под предлогом проводов министра иностранных дел Японии и встретился с немецким послом Шуленбергом. Положив ему руку на плечо, Сталин сказал: „Мы должны быть друзьями и обязаны все сделать для этого”. А полковнику Кребсу Сталин сказал: „Мы остаемся друзьями при любых обстоятельствах”.*

— Это была не слишком умная игра, чтобы на некоторое время сохранить мир. Ставкой была жизнь. Советский Союз

не хотел войны, хотя понимал, что ее не избежать. Что русские понимали, это мне стало ясно некоторое время спустя, когда Пономаренко, первый секретарь ЦК КП Белоруссии устроил прием в честь польских коммунистов, живших тогда в Белостоке и Барановичах. Он вошел в историю под названием „мандариновый прием“, потому что на нем угощали мандаринами, что для нас было большой редкостью.

— Кем вы тогда работали?

— Директором общежития педагогов и работников профсоюза учителей.

— Вы уже тогда были советским гражданином?

— Да, я сразу принял советское гражданство. В июне Гитлер напал на Советский Союз... и мы сквозь пожарища прорвались в Москву. Я остановился у Данишевского в гостинице „Люкс“, в которой жили коминтерновцы. Кроме нас, из поляков там были сотрудники редакции „Красного Знамени“ и Женья Брун, а позже из Саратова приехал ее муж. Он руководил там радиостанцией. Советские власти рассматривали тогда вопрос о том, что с нами делать. Принял нас Ян Дзержинский, сын Феликса, сотрудник ЦК ВКП(б), ответственный за работу с кадрами.

— Чекист?

— Нет. Функционер Коминтерна. Симпатичный, приветливый. Я не очень знаю его биографию, но говорят, что в молодости он часто убежал из дому. Бунтовал. А потом успокоился, остепенился, женился. Долго все же терзался сомнениями. Ведь он жил в 30-е годы в „правительственном доме“ и своими глазами видел „великую чистку“. Когда мы познакомились, он уже занимал высокий пост. Дзержинский был ответственным, дисциплинированным, деловым, исполнительным человеком. Вместе с тем он хорошо относился к людям. Его делом было устраивать коммунистов из разных стран, в том числе и поляков, на

работу. Он хорошо говорил по-польски. В семье Дзержинских говорили только по-польски. Он устроил меня, Вербловского, Левиковского и еще нескольких человек на работу на Радиостанцию Костюшко. Руководила радиостанцией его мать София Дзержинская.

— Летом 1941 г. Польша и Советский Союз установили дипломатические связи. В договоре, который Советский Союз подписал с Сикорским, СССР отказывался от территорий Польши, которые отошли к Советскому Союзу в соответствии с пактом, заключенным с Германией в августе 1939 г., соглашался амнистировать всех поляков и оказать помощь при создании польской армии на территории СССР. Эта армия должна была войти в состав польских независимых вооруженных сил. Советский Союз должен был вооружить и содержать эту армию на средства, полученные от Соединенных Штатов в рамках ленд-лиза. Польша, в свою очередь, соглашалась не требовать компенсации за аннексию половины страны, за захват в плен 250 тысяч польских солдат, за депортацию полутора миллиона польских граждан в лагеря. Это был сталинский вариант — для Запада. А что в действительности обсуждалось в Москве?

— Я не уверен, можно ли так формулировать вопрос. Советский Союз оказался в смертельной опасности, и Сталин искал выход из серьезнейшего положения.

— Во-первых. Когда была создана коминтерновская школа, которая готовила кадры для формирования компартии на территории Польши?

— Весной 1941 г., еще до начала советско-германской войны. Предвидя развитие событий, в эту школу приняли нескольких поляков. Там были Анастас Ковальчик, Мариан Новотко и Павел Финдер. Позже они вошли в группу, посланную в Польшу для организации Польской Рабочей партии. Тогда в руководстве польской секцией школы можно было наблюдать две тенденции. Их представляли Новотко и Молоец.

– Второй вопрос. Что произошло с Берлингом?

– Довоенных польских офицеров спрашивали – кто хочет вернуться в Польшу, то есть к Гитлеру, а кто предпочитает остаться в Советском Союзе и участвовать в борьбе, а кто желал бы выехать в нейтральную страну. Берлинг был среди тех, кто захотел остаться в СССР и воевать. Они составили ядро военной группы.

– И третий вопрос. Что вы скажете о Ванде Василевской?

В то время Ванда была уже депутатом Верховного Совета СССР и членом ВКП(б), и из поляков только у нее была установлена вертушка – наиболее охраняемый и секретный аппарат в СССР, по которой она могла звонить самому Сталину. Это показывает, какое положение она занимала. И постепенно она уверилась, что ей предстоит выполнить определенную „миссию“. Ей это очень нравилось, хотя иногда казалось, что ответственность ее угнетает. То, что она, бывший член Польской социалистической партии, а не коммунисты, занимала столь важный пост, вызывало определенную неловкость. Но нам не было обидно. Наоборот, мы были рады, что она как бы мостила нам дорогу к Сталину. Это нужно было для восстановления Польской компартии, и эта цель была главной для нее. Сталин высоко ценил Ванду и ее литературное творчество. Сталину импонировало, что Ванда – дочь буржуазного польского министра – Леона Василевского, писательница – является коммунисткой. Она была в то время на подъеме – творческом и психологическом, хотя, как и у всех, у нее были свои симпатии и антипатии, неизбежные в такой ситуации. Но это не было главным. Она верила, что сможет убедить, объяснить, помочь.

– Сталин любил ее, если вообще можно сказать, что Сталин кого-либо любил?

– (Улыбаясь) Дочь свою он, вероятно, любил. Но Ванду трудно сказать. Их отношения требовали от Ванды смелости и даже дерзости. Она обладала этими качествами в большей

степени, чем коммунисты, потому что ей чуждо было понятие партийной дисциплины, которая сковывала коммунистов. По-моему, хорошее отношение Сталина к Ванде было вызвано его реализмом. Сталин ценил полезных ему людей.

– А с кем она еще была связана?

– С Хрущевым, первым секретарем ЦК КП Украины; у Хрущева она встречалась с генералом Серовым, заместителем Берия – его ставка была в Киеве; и с Георгием Сергеевичем Жуковым – генералом НКВД (а не с маршалом). Жуков оказывал на нее огромное влияние.

– А вы с кем были связаны?

– С Мануильским из Коминтерна. Он часто звонил мне по разным вопросам... 18 сентября началась эвакуация из Москвы. Коминтерн переехал в Уфу. Школу Коминтерна и радиостанцию перевезли в Пушкино в Кушнаренково – в старую усадьбу в 80 км от Уфы. Я стал преподавателем на польском курсе, на котором училась вторая группа будущих руководителей Польской Рабочей партии. Первая группа к тому времени уже закончила занятия.

– Значит, новую партию должны были создать старые коммунисты?

– На кого-то нужно было опереться, на кого же, если не на коммунистов и членов Коммунистического союза польской молодежи? Месяц спустя произошло несчастье с первой группой (Инициативная группа ППР. – Ред.). Они возвращались в Уфу после короткой поездки в Москву. Самолет разбился сразу же после старта. Янек Турлейский погиб. Новотко сломал ногу. Создалась тяжелая атмосфера. Высказывались разные догадки, особенно среди руководства, начались разногласия между Молайцом, Новотко и Финдером. Суть их заключалась в том, кто будет правящей силой в Польше, будет ли партия руководить армией или армия партией. Армией должен был командовать

Болеслав Молоец, а руководить партией — Новотко. У Молойца были свои люди не только в инициативной группе, но и в Уфе.

— Кто?

— Я не хочу называть фамилий. Разногласия были и среди военных.

— Вы думаете в этом повинен генерал Щербаков — начальник полготдела Красной Армии?

— Руку в огонь я за это не положу, но подозревал я именно его.

— А кто поддерживал Новотко?

— Коминтерн, то есть Димитров и Мануильский — руководители внешней политики.

— А на верхах — Берия? Серов?

— У меня нет данных для ответа на этот вопрос. Инициативная группа находилась в Уфе около месяца, там происходили встречи с генеральным секретарем Коминтерна Димитровым, там готовились документы. Группа ждала отправки в Польшу в середине декабря 1941 г. Перед отъездом Новотко приехал в Кушнаренково, чтобы попрощаться с „девушками”, то есть с Янкой Формальской, Стефой Цешликowsкой и другими. Все его любили за хорошее отношение к людям. Я знал его раньше, но в Уфе наше знакомство перешло в дружбу. Я решил поговорить с ним, и этот наш разговор, возможно, поможет объяснить загадку его гибели. Во-первых, я попросил его взять меня в Польшу.

— Но ведь не Новотко решил эти вопросы.

— Конечно, нет. Скорее всего Димитров. Но попросил я об этом Новотко. „Я бы с удовольствием сделал это, поверь мне, —

ответил он. — Но ты нужнее здесь. Ведь кто-то должен обучать людей... Твой отъезд невозможен”. Мы оба прекрасно понимали, что не так уж просто взять меня в Польшу. Слишком много проблем со мной, евреем, в оккупированной стране.

— А с Финдером меньше?

— То же самое. Но кого-то из знающих дело необходимо было взять с собой. Я сказал, что понимаю, но что у меня к нему еще один вопрос. Ходят слухи о разногласиях в вашей группе, сказал я. Меня это очень беспокоит. Не могли бы вы урегулировать их тут, до отъезда? Новотко не отрицал этого, что подтвердило мои догадки, и сказал: „Не беспокойся, Яков, я справлюсь”. Но не справился... И погиб.

— Откуда вы знали русский язык?

— Еще с Варшавы. Я учился в русской гимназии до первой мировой войны. Попал я туда довольно странным образом, поскольку чтобы попасть туда мне пришлось остаться в подготовительном классе на второй год. А знаете, почему? Из-за процентной нормы. Ее не было в частных польских школах, а в государственных русских — везде.

— Как и сейчас?

— Андропов вроде ее упразднил. В царские времена допустимая норма евреев составляла 5% учащихся каждого класса. Я в эту норму не вошел, и потому меня оставили на второй год в подготовительном. Так что я хорошо знал русский и готовил доклады для всей Кушнаренковской школы — о международном положении, о положении на фронте. Раз в неделю я ездил в Уфу. Там я читал эмигрантскую прессу на немецком и французском языках и шифровки из Польши — это было большим событием, хотя шифровки эти не всегда приносили хорошие вести.

Между Новоткой и Молойцом, как выяснилось позже, нарастал тогда конфликт, и завершился он в ноябре 1942 г. весьма трагически. Новотко был убит по приказу Болеслава Молойца его братом — Сигизмундом.

— А чей приказ выполнял Болеслав?

— Не знаю. Чем он руководствовался, для меня до сих пор загадка. Я много думал, кто мог отдать такой приказ, и не могу догадаться. Я не верю, что Молоец или Новотко были агентами гестапо. Причина, по-моему, в характере Молойца. Возможно, это было соперничество, а, может, жажда власти. Молоец был видным партийным деятелем. Он воевал в Испании, потом некоторое время руководил инициативной группой партии во Франции. Быть может, когда его отозвали в Советский Союз, он почувствовал себя уязвленным, что не его хотят поставить во главе Польской партии, а Новотко. А может быть, работа во Франции развила у него амбиции и властолюбие, которые сохранились и в дальнейшем. К этому, возможно, следует прибавить его симпатии и антипатии, различия в их взглядах. Определить точную причину не легко, тем более, что меня там не было. Но конфликт назревал. Спыхальский пишет об этом в своих мемуарах. Молоец требовал, чтобы судьба страны решалась в ставке военных и чтобы все члены партии поклялись в верности „Гвардии Людовой“. Новотко сопротивлялся, но Молоец вынуждал его на согласие.

— А не могло быть так, что решение послать их обоих в Польшу было компромиссом между Красной Армией и НКВД или попыткой перенести их вражду на территорию Польши?

— Не знаю. Доказать это трудно, а без доказательств — это остается лишь эффектной гипотезой. Распри и ссоры всегда скрывались и не обсуждались публично. Внешне все были связаны по вполне ясной схеме — Политбюро, а над ним Сталин, все решающий арбитр. Я же считаю, что проблема заключалась в том, что Новотко и Молойца послали в Польшу вместе, не решив предварительно, кто будет наводить порядок — армия или партия. По имеющимся данным, вина Молойца доказана. Гомулка написал подробное объяснение на эту тему — о следствии и обо всем, что с ним было связано.

— Кроме туманных заявлений Юзвяка это, собственно, единственный документ.

— Да, но достоверный, чего не скажешь о заявлениях Юзвяка. Я всегда верил Гомулке — ему незачем врать. Он написал, что Сигизмунд — шеф военной контрразведки — получил приказ от брата застрелить человека, с которым Болеслав встретится. Сигизмунд не знал Новотко — это проверено — приказ исполнил. Когда его допросили, он сразу признался. Ему вынесли смертный приговор и казнили. Позже казнили и Болеслава.

— Болеслава Молойца застрелил Янек Красицкий после того, как Болеслав Ковальский отказался выполнить этот приказ, а Сигизмунда — Антони Грабовски.

— Это было самым трагическим событием в истории польской партии. Раньше даже самые острые фракционные схватки кончались иначе. Такой метод борьбы считался неприемлемым. Именно поэтому возникли слухи, что Молоец якобы выполнял приказ, черт знает чей.

— Болеслав Берут на III пленарном заседании ПОРП в 1949 г. сказал, что Новотко был убит провокатором, который пролез в партию по поручению „двойки“ (довоенная польская военная разведка. — Прим. пер.), а Молойца просто вычеркнули из истории партии.

— Я на этом заседании не выступал. Мне не нравилась ни его атмосфера, ни сделанные там заявления.

— В Уфе вы часто встречались с Димитровым. Что вы можете сказать о нем? Джилас писал о Димитрове так:

„... Он производил впечатление больного человека. Дыхание его было астматическим, кожа местами нездорово красная, местами бледная, местами — возле ушей — сухая, как при лишае. Волосы были до такой степени редкими, что сквозь них просвечивал увядший желтый череп. Но мысль его была живой и свежей, что совсем не вязалось с медленными и усталыми движе-

ниями. Этот слишком рано состарившийся, физически почти сломленный человек, все еще излучал мощную умственную энергию и жар. Об этом свидетельствовали и черты его лица, в особенности, напряженный взгляд выпуклых синеватых глаз, и резко выдающиеся нос и подбородок. Хотя он и не высказывал всего, что думал, но говорил открыто и твердо”.*

— Джилас любит преувеличивать и приукрашать свои впечатления. Я несколько раз беседовал с Димитровым и понял, что он прекрасно разбирается в наших делах, и что у него было много проблем с первой инициативной группой. Вопрос, кто будет решать дела в Польше — военная группа или партия — не был решен до конца, а это было исключительно важно. Он определял и средства и предел ответственности. Димитров очень интересовался этим и пытался найти мирное решение. Но не он решал главные проблемы — их решали коллективно, и Димитрову приходилось считаться с мнением остальных.

— С чьим мнением?

— Хотя бы Мануильского — члена Исполкома Коминтерна. У него был большой опыт, и он хорошо разбирался в польских делах. Иногда, правда, ошибался.

— Это он распустил Коммунистическую партию Польши?

— Не он решал этот вопрос.

— Но он представил улики.

— Не знаю, вряд ли. Доказательства собирало, или, вернее, фабриковало другое ведомство. Мануильский занимался полити-

* Милован Джилас, Разговоры со Сталиным, 1970, Possev-Verlag, Frankfurt/M, стр. 29–30

ческой работой. Он формулировал проблемы в целом, вел полемику.

А что вы можете рассказать о Дзержинской? Ведь она была непосредственно ответственной за польскую группу.

— Очень несчастное существо. Быть женой знаменитости не так уж просто, а женой Дзержинского тем более. Он был очень сложной личностью, с огромным идейным и волевым напряжением. Очень интересный человек.

— Что же в нем было интересного?

— Вы знаете, сложившийся образ Дзержинского, очень примитивен и бессмыслен. Но кто читал ее воспоминания, кто встречался с близкими ему людьми, а особенно читал письма женщин, которые его любили, тот может понять его — живого, порывистого. Удивительно храбрый, готовый к самопожертвованию — интересная комбинация аристократа с революционером. Дзержинская все еще была под его влиянием. Она с молодости принимала участие в работе Социал-демократии Королевства Польши и Литвы, дружила с Меланией Керчинской. Она была влюблена в Варшаву и в Польшу и прекрасно говорила по-польски. Но не было в ней сердечности. Люди из Коминтерна, занимавшие видные посты, как правило, опекали национальные группы. Когда, например, в Кушнаренково приезжала Долорес Ибарри, испанцы радовались, как будто к ним мать приехала. Она привозила, что могла — сладости, обувь. Дзержинская была у нас раза два и вела себя очень сдержанно. Она была неплохим человеком, но соблюдала дистанцию. Некоторые из наших, находясь вдали от родины, воспринимали это болезненно, тем более, что для них человек с таким партийным стажем представлялся идеалом, не говоря уже о том, что она долгие годы жила с выдающимся человеком.

— С двумя. Вторым был Варский.

— Намного позже и недолго. Мне думается, что Дзержинская была неплохим человеком, но жестко, без колебаний выпол-

няла все поручения, и вела себя более официально, чем Димитров, которому она подчинялась.

– А в идеологическом плане?

– Догматик. Она преданно разделяла все догмы. Верили ли в них те, которые их формулировали, — не знаю, но это не исключено. Дзержинская была воспитана в духе этих догм и предпочитала уже проверенные методы.

– Говорили ли вы с ней когда-либо об убийстве Варского?

– Нет, что вы, это было бы неуместно.

– А с Димитровым о „великих чистках“? Он, якобы, сказал Тито, что надо было полить кровью здоровую ткань, чтобы изолировать ее от больной.

– Нет, я с ним об этом не говорил. Не такие у нас были отношения. О Тито он мне рассказывал еще в 1943 г., и доброжелательно. В то время югославскую компартию раздирали страсти, и в Тито он, по-видимому, увидел столп консолидации. О „чистках“ я пытался расспросить Мануильского, но тот уклонился от ответов. Даже не хотел сказать, живы ли эти люди.

– А ему это было известно?

– Наверняка. Он умный был.

– Он был энкаведистом?

– Скорее нет. Похоже, он лавировал. Мануильский принадлежал к верхушке Коминтерна и прошел неплохую школу, исполняя поручения Сталина. В делах не первой важности они сами принимали решения. Но Мануильский был нам полезен, он разбирался в польских проблемах, сам неплохо говорил по-польски, много знал. Другое уже дело — выводы, к которым он приходил. Но с ним было легче разговаривать, чем с другими.

– Мануильский лавировал, а остальные? Каковы были отношения между ними?

– Вы спрашиваете о совершенно секретных делах, о которых я не мог знать. Я мог бы назвать нескольких членов Политбюро, но какое это имеет значение, если не знаешь, кто за что отвечал, а это было секретом. Был Маленков — очень умный человек. Но я знал его мало. Чаще всего мне приходилось встречаться с Молотовым — после окончания войны он занимался польскими делами. Он был приближенным Сталина, хотя Сталин его нередко жестоко наказывал. Он заменил Литвинова, что считалось свидетельством перемен. Ситуация в Политбюро никогда не была стабильной. Люди меняли убеждения и в результате менялись отношения между ними, особенно в 1943 г., когда стало ясно, что наступает решающий период войны.

– Февраль — сталинградская победа, март — создание Союза польских патриотов; апрель — предание гласности казней в Катыне и разрыв дипломатических отношений с Польшей. Май — роспуск Коминтерна и создание армии Берлинга.

– Сталинградская победа — величайшее событие — оказала огромное влияние на все последующие решения. Укрепилась роль Щербакова, начальника политотдела Красной Армии.

– Вы были знакомы с ним?

– Нет, возможно, мы встречались, но я не помню.

– А Жукова вы помните? Джилас писал о нем:

„Стройный и бледный блондин, еще молодой и очень находчивый, не без юмора и тонкого цинизма — свойств нередких среди работников секретных служб... Он занимал с женой двухкомнатную квартирку. Она была очень удобно, но скромно обставлена, хотя по московским условиям, да еще в военное время, казалась почти роскошной. Жуков был отличным служакой и на основе опыта больше верил в силу, чем в идеи

как средство осуществления коммунизма".*

— Я с ним почти не был знаком и никогда никаких бесед не вел... Мне думается, он был перестраховщиком, так как всегда старался не принимать поспешных решений и вдобавок не очень понимал, в чем состоит решение польских проблем — будет ли это задачей разведывательных органов или результатом работы партии. Скорее всего, он, будучи хорошим сотрудником своего ведомства, считал, что предпочтение следует отдавать людям из разведки...

* * *

— Мы сами мало знали о том, что происходит в Польше, а быстро изменяющаяся международная обстановка требовала решительных действий. Тогда-то и возникла идея создать представительство в лице Польского народного комитета. Союз польских патриотов занимался делами беженцев — их бытом и обучением, а мы хотели подготовить почву для создания польского правительства.

— Но ведь в Лондоне уже существовало признанное народом польское правительство?

— Это правительство не было признано Советским Союзом, и Сталин никогда не признал бы его. Польское правительство не должно было быть враждебным по отношению к СССР.

— А в чем проявлялась эта враждебность? В несогласии с захватом половины страны? В несогласии с депортацией поляков в Сибирь и их убийствами?

* Милован Джилас, цит. раб., стр. 39–40.

— Бред. Кто после первой мировой войны угрожал Советскому Союзу? Господин Пилсудский! Ленин предложил Польше очень выгодные границы, сдвинутые далеко на восток. Но Пилсудскому было мало. Он хотел федерации — подчинить Украину и Прибалтику, и пошел на Киев. Зачем?

— А зачем Ленин пошел на Варшаву?

— В тот момент дело было не в Польше. Польша рассматривалась как мост в Германию, а в Германии, в сердце Европы, создавалась революционная обстановка, появились надежды на победу революции в этой стране. К сожалению, эти надежды не оправдались. Поражение под Варшавой развеяло надежды на революцию в Европе. Так что после второй мировой войны Сталину нужны были гарантии, что соседняя страна — ведь Польшу не стереть с карты Европы — будет дружественным государством.

— И он решил укрепить дружбу, перебив польских офицеров?

— Он и со своими поступал так же, и советских жертв было ничуть не меньше.

— Чем вы занимались к концу 1943 г.?

— Я был тогда секретарем отдела Союза польских патриотов, занимавшимся польскими делами, и секретарем оргкомитета по подготовке создания Польского народного комитета.

— Это были не самые представительные должности, но зато самые важные в операционном смысле роли. Почему на эти должности назначили именно вас?

— По-моему, Сталин выбирал людей, руководствуясь двумя критериями: первый — отношение к Советскому Союзу и к коммунистической идее. Сталин, по-видимому, был убежден, что я предан и идее, и СССР. Второй критерий — оценка челове-

ка. Что он в состоянии сделать, не будет ли он пустым местом, способен ли он влиять на других. Обо мне у Сталина сложилось, вероятно, положительное мнение, когда я еще находился в Кушнаренково. Я читал тогда политические лекции, и они попадали в Москву и к Сталину. Я все время был в контакте с Мануильским. Когда возникла идея создания Польского народного комитета, нас обоих принял Димитров. Он жил тогда под Москвой и только оправился от воспаления легких. Это была моя первая продолжительная беседа с Димитровым. Он расспрашивал о людях из нового руководства Польской Рабочей партии, интересовался кто есть кто...

Сталина я впервые увидел 24 декабря 1943 г. в Кремле на приеме в честь поляков. Это было накануне учреждения Польского народного комитета.

— Прием происходил в том же зале, где год назад принимали Сикорского?

— На этот раз пригласили несколько десятков человек и среди них более десяти коммунистов... К сожалению, не было Лампе, который умер за несколько дней до приема.

— Матвин был очарован Сталиным, а Вы?

— Для меня Сталин был символом победы. Он вынес на своих плечах всю тяжесть борьбы с Гитлером, он олицетворял надежду на новое будущее Польши. Для меня Сталин был человеком, с именем которого миллионы шли в бой и гибли.

— В Сибири тоже.

— Были ли у нас разногласия? Естественно, были... Но они казались второстепенными по сравнению с военными успехами. Главным было то, что Сталин — победитель. Советский Союз сумел в исключительно тяжелой обстановке собраться с силами и нанести Гитлеру сокрушительный удар. Режиссером этого спектакля был Сталин, и это история должна оценить.

— Как он себя вел?

— Сталин был выдающимся тактиком, он хорошо владел собой, часто умел видеть далеко вперед. Был вспыльчивым, иногда гневным, иногда задумчивым, размышлял, когда не торопился с ответом. Редко откровенничал. Говорил медленно, с сильным акцентом, но нам это не мешало — ведь в СССР много национальностей и не все хорошо говорят по-русски. Сталин был низкого роста, со следами оспы на лице.

— И кремлевской желтизны?

— Не сказал бы. Сталин делал все, чтобы казаться здоровым человеком.

— Он занимался спортом?

— Вряд ли, хотя на дачах — их было несколько, и в последние месяцы войны мы часто на них ездили — были спортивные площадки. Мы играли в городки (я — очень плохо), рассказывали анекдоты.

— И политические?

— И политические. Минц подтвердил бы это, если бы он был жив. У него была хорошая память, и он любил рассказывать анекдоты. Сталин не принимал участия в наших развлечениях. Он появлялся только за ужином или на просмотре фильмов. Сеансы устраивали специально для приглашенных. Сталин любил американские фильмы, особенно политические. Он возбуждался, комментировал. Но лучше всего он чувствовал себя за ужином. Много ел, много пил. Потом, вероятно, врачи рекомендовали ему ограничить алкоголь (у него было что-то с печенью), и он стал разбавлять вино и водку водой. После войны, когда мы бывали в Москве, наши визиты, как правило, кончались ужином и просмотром кинофильмов. Создался своего рода ритуал — кто будет от нас, а кто от них.

— По какому принципу происходил отбор?

— Не знаю. Во всяком случае, я и Берут были всегда. Несколько раз приглашали социалистов, пепезовцев (ППС), кажется, их приглашали даже отдельно. В то время возник вопрос об объединении с ПРП, и Сталин был весьма заинтересован склонить их на свою сторону. Приемы — были одним из его методов.

— А какие он еще использовал?

— Сталин умел быть очень обаятельным, а если кто-то был ему нужен, он становился даже сердечным и заботливым. Если кто-либо бывал в отпуске в Крыму, он всегда потом спрашивал, как там было, понравилось ли нам и нашим семьям. Он спрашивал об этом и Гомулку. Вроде бы мелочь, но это очень располагало.

— Ужины начинались в 10 часов вечера?

— Поздним вечером и продолжались до утра. На них подавались изумительные блюда и напитки. Особенно запомнилась медвежатина. Около Сталина всегда сидел Берут, а за ним я. Сталин поднимал тосты. Сначала всегда „за товарища Берута“, а потом „за товарища Бермана“. Потом ставил пластинки. Чаще всего с грузинской музыкой. Он очень ее любил. Однажды, кажется, в 1948 г., я танцевал с Молотовым (смеется).

— Наверное, с Молотовой?

— Нет, с Молотовым. Его жена тогда уже сидела в лагере. Я с ним танцевал. Что-то очень простенькое. Я не умею танцевать, и потому просто передвигал под музыку ноги.

— А кто вел?

— Конечно, Молотов. Я ведь не умею танцевать, а Молотов танцевал хорошо. Я старался слушаться его, но это было скорее комическим представлением, а не танцем.

— А Сталин? С кем он танцевал?

— Сталин не танцевал, он заводил патефон, видя в этом свой гражданский долг. Сталин никогда не отходил от патефона, он ставил пластинки и смотрел.

— На вас?

— Да, он смотрел, как мы танцуем.

— Значит, было весело?

— Веселились, но скованно.

— То есть гуляли, но не очень бурно?

— Сталин веселился по-настоящему, для нас же танец представлял возможность сказать шепотом то, чего мы не решились высказать вслух. Молотов, например, предупредил меня тогда о возможности проникновения в наши ряды агентов разных вражеских организаций.

— Он хотел запугать вас?

— Нет, это считалось дружеским предостережением. Молотов воспользовался ситуацией, а может быть, сам создал соответствующую обстановку — пригласил меня танцевать и, танцуя, обронил несколько слов. Я принял во внимание его предупреждение, но ничего не ответил.

— А женщины бывали на таких гуляньях?

— Нет. Женщин в кругу Сталина мы не видели. Если Сталин и имел с ними дело, то происходило это тайком, не на виду, и знали об этом лишь самые близкие. Сталин строго следил за тем, чтобы не было никаких сплетен — он понимал, что они опасны, и всячески старался выглядеть непогрешимым.

– Подавали к столу солдаты?

– Когда я там бывал — официантки, в штатском. Однажды одна из них — довольно высокая девушка — подавая чай, задержалась, расставляя посуду. Мы сидели втроем, и вдруг Сталин вспылил: „Что она, подслушивает?“ Я был потрясен. Я вдруг увидел Сталина другим. Официантка — тысячу раз проверенная, прежде чем ее допустили к обслуживанию Сталина, совершенно надежная — и вдруг такая подозрительность!

– 24 декабря, в ночь перед Рождеством, у Сталина подавали медвежатину или карпа?

– Не помню. Этот прием был подробно описан много раз. На следующий день началась сессия Польского народного комитета. Она затянулась надолго, потому что никто не знал, какую занять позицию по отношению к новому руководству Польской Рабочей партии. Мы их просто не знали.

– После гибели двух доверенных коммунистов первым секретарем стал Гомулка?

– Гомулка был самым видным деятелем Польской Рабочей партии и секретарем Варшавского комитета. Берут и Янек Красицкий в то время были еще в Минске...

– А вы не стремились тогда стать министром?

– Нет.

– А кем вы хотели быть?

– У меня тогда не было никаких идей по этому поводу. Я понимал, что, как еврей, я не могу занять высокий пост и не должен. Да я и не стремился сидеть в „первом ряду“. Не потому, что я чересчур скромнен. Подлинная власть не всегда связана с видным положением. Мне хотелось влиять на формирование новой власти, но я не собирался лезть вперед. И это требовало определенной ловкости.

– Вы хотели быть серым кардиналом?

– Нет-нет, совершенно не то. Это название приложимо к тем, кто скрывает свои возможности и значение перед общественностью. Я же намеревался открыто участвовать в общественной жизни, выступать с докладами, но как член коллективного руководства, а не как самый главный.

28 декабря мне позвонил Мануильский. Я ушел с заседания Комитета и вместе с ним поехал к Молотову. Тот задал мне те же вопросы, что и Димитров: каково положение в Польше, каково положение в Польской рабочей партии? Я повторил все, что знал. Перед окончанием приема я обратился к Молотову. „Пользуясь случаем, — сказал я, — я хотел бы отметить следующее: Мы скоро будем в Польше. В армии разногласия в области идеологии, и возникают тенденции управлять страной в обход партии. Вообще о партии военные молчат, хотя им известно о ее существовании и ее деятельности. Мы постоянно говорим об этом, об этом же пишут наши газеты. А происходит это потому, что нет центра, который бы руководил и Союзом польских патриотов и армией, а после возвращения в Польшу содействовал бы партии“.

Молотов выслушал меня и сказал: „Напишите мне об этом“. Сразу же после этой беседы я на какой-то частной квартире встретился с Вербловским и Минцем, и мы вместе написали докладную записку следующего содержания: „Назрела необходимость координировать действия, и мы, польские коммунисты, считая себя частью Польской рабочей партии, просим создать центр, аналогичный имеющемуся у немцев“. Я подписал эту докладную и передал ее Молотову. К нашему немалому удивлению не прошло и недели, как Секретариат ЦК ВКП(б) принял решение о создании Центрального бюро польских коммунистов в Москве (они сами придумали название), и с начала декабря 1944 года бюро начало работать. В это же время мы узнали о создании в Польше Крайовой рады народной (Народного совета). Это было для нас полной неожиданностью.

– Никому из ваших не предложили войти в этот Совет?

— Нет. Возможно, из-за отсутствия связи. После создания в Польше Крайовой рады народной, Польский народный комитет стал ненужным, но зато приступило к работе Центральное бюро польских коммунистов.

— Мало кто знал тогда о его существовании... Чем вы занимались в этом Бюро?

— Я был членом руководства бюро.

— Ну вот еще. Основали его вы, Вербловский и Минц, а руководителями стали Василевская, Сверчевский и Радкевич, председателем — Завадский.

— Брехня. Завадского не было в Москве, приезжал он туда редко. Все это сказки, придуманные позднее. Состав Бюро и его название придумали не мы, а ВКП(б).

— Почему же они придумали Завадского?

— Не знаю.

— Тогда попытаемся расшифровать отрывок из его биографии: В 1939—1941 гг. работал в Пинске — в советской милиции, в городской администрации, директором парка культуры и отдыха. Заболел и был послан на лечение в Сочи. Потом — Гомель, Москва. Из Москвы — в конце декабря 1941 г. — Завадский вместе с женой был послан в Сталинград... В июле 1942 г., когда немцы начали наступление на Сталинград, Завадский был отправлен в стройбат. После нескольких месяцев — госпиталь; после госпиталя направление на работу на шахту „Капитальная” в Осинниках, Кемеровской области, вблизи Новосибирска, шахтером. Весьма красочно пишет о Завадском автор его биографии Отильда Вышомирская-Кисманская: „... Завадский, хотя он слаб от болезни, еще не оправился, работал самоотверженно, по колени в воде. К тому же он пробил ногу киркой. В середине сентября 1943 г., после долгих хлопот и стараний, Завадский приехал в Силц и уже 7 ноября выступил с докладом

на торжественном заседании. В январе 1944 г. он стал политическим комиссаром корпуса, заменив Сокорского, а через несколько недель был произведен в генералы и руководил проверкой коммунистов в армии...

— Да. В 1941 г. Завадский отказался лететь в Польшу, испугался, и это стало причиной его последующих неприятностей.

— А он был обязан?

— Формально нет. Но все считали, что он поступил не лучшим образом. В жизни бывают не только победы. Люди, способные на мужественные поступки, тоже переживают приступы слабости. Алекс был смелым и твердым человеком, но вдруг не хватило отваги полететь в Польшу. За это с ним и обошлись так жестко, послав в тыл. А в 1943 г. он взял себя в руки, проявил отвагу и решительность...

* * *

— Содержание „Июльского манифеста” было согласовано со Сталиным?

— Разумеется. Сталин очень интересовался положением в Польше. И дело было не только в согласовании текста Манифеста. Нам нужно было объяснить нашу точку зрения, которая не совсем совпадала с советским опытом. Советские руководители исходили из опыта своей молодости и считали, что их метод наделения крестьян землей должен быть примером и для нас. Они требовали, чтобы мы пошли по пути наделения землей и середняков, а это было неприемлемо для Польши. Земли бы не хватило. Но они настаивали, забыв, что в России были огромные кулацкие и помещичьи земельные площадки. Минц блестяще защищал нашу позицию. Он подсчитал, сколько гектаров земли есть у нас, и сколько нуждающихся в земле. И получилось, что для середняков земли не хватит. Но они продолжали настаивать, не желая отказываться от своей доктрины. Мы долго ломали голову, не зная, что делать. Мы старались выиграть

время. Они же, в свою очередь, доказывали, что медлить нельзя, что это ошибка, за которую нам придется расплачиваться потом, и, естественно, были правы. Наконец, мы нашли решение. В декрете говорилось, что землю получают и середняки, но только многодетные. Это решение предоставляло дополнительную выгоду — расслоение середняков.

— *Но вы же провозглашали Польшу самостоятельной?*

— При чем тут самостоятельность? Согласование Манифеста или вопроса о наделе земель — это одно, а самостоятельность — другое. Они ведь помогали нам и хотели, чтобы в Польше произошла такая же революция, как и в России, т. е. самая лучшая, по их мнению, потому что увенчалась победой (они ведь не могли выйти за ими же очерченные границы). Необходимо понять их образ мысли. Я знаю, это не просто. Все мы воспитаны на нормах международного права. Это право подверглось, правда, значительной девальвации. Но и нам не все равно, попирают ли законы в „белых перчатках” или нет. Они же попирали их не собирались. Они хотели помочь нам, советовали, а не вмешивались во внутренние дела. Польша должна была стать независимой, и этого хотели не только мы, но и Сталин. Еще в мае 1943 г., отвечая на вопросы корреспондентов „Нью-Йорк Таймс”, Сталин сказал, что он безоговорочно за сильную и независимую Польшу.

— *Интересно, что за три с половиной года до интервью Сталин был решительно против этого, а 31 октября 1939 г. на сессии Верховного Совета СССР Молотов вопил (и не по своей же инициативе), что ничего не осталось от „этого уродливого детища Версальского договора”, что „о восстановлении старой Польши не может быть и речи”, что „бессмысленным является продолжение теперешней войны под флагом восстановления прежнего Польского государства”.*

— Погодите. Правда, в 1942 г. и в начале 1943 г. предлагалась идея семнадцатой республики СССР. Эту идею поддерживала и София Дзержинская. Я был не согласен с ней и ссылался на международную обстановку, не желая быть обвиненным

в национализме. Но выступил я лишь в начале 1943 г., когда обстановка была подходящей для этого. Я взвесил все за и против и написал Дзержинской письмо, отвергая такую постановку вопроса.

В то время в коминтерновском журнале появилось несколько статей о национальных особенностях стран будущего лагеря социализма. В них говорилось о необходимости создания национального фронта и поддержке национальных традиций. Именно тогда я написал письмо Дзержинской, что не вижу ни смысла, ни цели в семнадцатой республике, тем более, что создание такой республики противоречит идеям Коминтерна и что я выступаю за самостоятельное польское государство. Дзержинская, разумеется, на мое письмо не ответила, но, наверное, передала, кому надо. Но тогда это уже не могло иметь плохих последствий. Я не совершил смертного греха, я мог сослаться на мнение других товарищей, пользовавшихся большим, чем я, авторитетом. Эти люди до роспуска Коминтерна весной 1943 г. оправдывали такое решение необходимостью гарантировать более широкие права каждой партии, а не связывать их директивами Коминтерна. Эту идею в какой-то степени поддерживал и Сталин.

Сталину нужна была дружественная, верная Польша, и он отнюдь не настаивал на обязательном включении Польши в качестве семнадцатой республики в СССР. У него хватило ума понять нереальность и бессмысленность такой затеи. В то время такая концепция была нелепостью. Ради успеха антигитлеровской коалиции необходимо было гарантировать независимость всем народам. К тому же судьбу Польши решал не только СССР, но и весь мир. После сталинградской битвы, когда уже не было сомнений в победе Советского Союза, стало ясным и то, что на предстоящих мирных переговорах Советский Союз будет партнером с решающим голосом, и будет в значительной мере диктовать условия. Мы знали, что благодаря этому Польша получила возможность изменить общественную структуру.

— *На каких условиях была предоставлена такая возможность?*

— Не понимаю...

— *Мой вопрос совершенно конкретен. Когда к Беруту в Москве 7 августа 1944 г. пришел Миколайчик с просьбой помочь погибающим в Варшаве, Берут не удостоил его даже ответом.*

— А что он должен был ответить ему? Перед ним был выбор: собрать разрозненные части и спасти Варшаву или помешать Черчиллю прорваться на Балканы и отхватить половину Европы. Положение было сложным, а Гомулка был слеп. Мы были опытными и знали как говорить (с советской стороны. — Ред.). Но все равно наши усилия были напрасными, что бы мы ни делали, потому что мы сами не могли добиться помощи.

— *Я говорю о том, что вы даже не пытались...*

— Почему вы так думаете?

— *А потому, что трагедия Варшавского восстания играла на руку и вам, и Советскому Союзу. Вы руками немцев ослабили Армию Крайову — потенциальную оппозицию вашей партии, и это предоставило вам аргумент в борьбе с польским правительством в Лондоне: они, мол, инспирировали восстание, и на них лежит ответственность за гибель ста тысяч человек и за разрушенную столицу.*

— Мы не организовывали восстания, и нас о нем даже не предупредили. Мы понимали, чем чреват союз с СССР, и принимали во внимание, что силы слишком неравны. В этом не было никаких сомнений. Но мы знали, что сейчас — в 1944—1945 гг. — необходимо выиграть войну и что помощь Сталина при определении границ — решающий фактор. И мы хотели воспользоваться этим на благо Польше.

— *Но ведь вы отдали и Львов и Вильнюс!*

— Да, других границ, чем те, которые предлагал Сталин, нельзя было добиться.

— *Можно было. Можно было сохранить Львов. Джеймс Ф. Бернс (директор мобилизационного управления США) сказал 13 февраля 1945 г., т. е. через два дня после окончания Ялтинской конференции (на которой не решалась судьба Львова), что еще не решено, кому достанется Львов.*

— Это были кратковременные грезы. Единственной нашей возможностью было получить часть Беловежской пуши, и эту возможность мы реализовали.

— *Потому что Особка объяснил Сталину, что зубры — не поляки и не белорусы?*

— (Смеется). Да, так оно и было. Иногда Сталина можно было взять шуткой.

— *А чем еще?*

— Да что вы, Сталин был великодушным политиком. Иногда его приходилось убеждать, и мы пользовались разными приемами.

— *Но все-таки вы согласились с границами, которые определил Сталин?*

— О Белостокском районе, занятом после 1939 г., были серьезные прения. Но Сталин не упорствовал, так как национальная структура этого района не вызывала сомнений. Споры, правда, были по Ломженской проблеме, но это мелочь.

— *Потому что район Жешува, где находился важный железнодорожный узел и несколько нефтезаводов, вы уже успели отдать?*

— Отдали потому, что Россия хотела получить эту нефть, и мы вынуждены были согласиться. Но кое-что нам дали взамен.

— Без нефти?

— Без нефти. Но ведь потом оказалось, что и там не было нефти!

— А по какому праву вы распоряжались польской землей?

— Это все чепуха. Планы — да и то нереальные — можно было, конечно, строить еще после первой мировой войны, что и делал пан Пилсудский. Но после второй мировой войны стала очевидной абсурдность этих мифов. Дело не в праве, а в реальности и соотношении сил. Такой реальностью было соглашение Большой Четверки в Тегеране и Ялте.

— В принципе вы правы, но дело в том, что вы отдали эти земли еще до Тегерана и Ялты. Вы отказались от них в 1939 г., а потом не только не поддержали польское правительство в его попытках вернуть хотя бы кусочек — как раз в связи с национальной структурой, а наоборот, мягко говоря, мешали этим попыткам.

— Глупости. Наше согласие или несогласие не имело никакого значения, особенно когда речь шла о восточных окраинах. Присоединение этих областей к СССР решила война. Спорить об этом было бы смешно. Можно было бороться за западные границы на Одере и Нейсе, и Сталин резко выступал против тех, кто противостоял нам.

— Ради своей же выгоды.

— Мы понимали, что Сталин, как всякий политик, будет руководствоваться прежде всего интересами своей страны, но эти интересы совпадали с нашими стремлениями, нам тоже нужны были такие границы на Западе. Например, был спор с немецкими коммунистами из-за Щецина. Им очень хотелось, чтобы он стал немецким, но решил этот вопрос Советский Союз.

— И линейка Трумэна.

— Не знаю. Щецин остался за нами. Сталин ловко провел своих противников.

— Вам тогда не приходило в голову, что настанет и ваша очередь?

— Честно говоря, нет. Главным было добиться от Запада того, чего мы хотели, т. е. наиболее выгодных для Польши границ.

— Результаты: Польша, находившаяся среди победителей, потеряла 27% своей территории, а немцы, проигравшие войну, всего 18%.

— Это наивные подсчеты. Мы получили гораздо более богатую землю. На Востоке были отданы очень бедные районы; потребовались бы огромные усилия, чтобы построить там заводы, построенные потом в других районах. Вряд ли мы смогли бы это сделать даже за десять лет.

— А сколько было вывезено в Советский Союз?

— Какие-то подсчеты уже проводились, но результаты мне неизвестны. Но вряд ли можно это подсчитать. Так, например, с западных земель и Германии гнали скот. По дороге скот погибал. Или же наши крестьяне давали взятки охране и получали скот. Так что сколько пригнали — неизвестно. Таковы законы войны. Но мы протестовали, стараясь приостановить демонтаж заводов. Советы считали, что все, что находится на наших западных землях, их трофеи. Раз это осталось после немцев, то по праву принадлежит им. Были созданы „трофейные отряды“. Их главной задачей было содействовать быстрейшему восстановлению Советского Союза. Чем больше трофейного добра, тем лучше. Главных успехов эти отряды добились в первые послевоенные месяцы, когда на наших освобожденных землях хозяйничали военные коменданты. В то время вывезли очень много, но даже

тогда нам удалось кое-что отстоять. По поводу завода в Полице под Щецином я лично ездил к Молотову, и тот помог. Минц тоже неоднократно ходатайствовал по таким делам в Москве. Мы аргументировали тем, что и нам нужно будет отстраивать разрушенную страну, и Сталин и Молотов принимали наши доводы во внимание.

— *Но не приказами отменить демонтаж и вывоз богатства из страны?*

— Пока продолжалась война, об этом вообще не могло быть речи, а потом это стало предметом споров. Следует, однако, учесть, что военные действия очень разрушили западную часть Советского Союза. Потери были огромные, в стране царил нищета, и Советам очень хотелось как можно быстрее восстановить промышленность. Специалисты требовали все необходимое для этого, и было решено брать как можно больше трофеев. На практике это не очень оправдало себя. Наспех демонтированные предприятия при перевозке в СССР практически разрушались, пропадали составные части, они оказывались невозможными. Мы часто приводили этот довод. Но как вы сами знаете, кто берет даровое, не очень заботится о подлинной ценности. Ему кажется, что достаточно забрать, привезти, поставить у себя и пользоваться...

— *Был ли вывоз этих предприятий обоснован нормами международного права?*

— Существовали общие указания. Советы считали, что все трофеи принадлежат им. Такая тогда была обстановка.

— *Но вы могли обратиться к международному общественному мнению. Все же ни английская, ни американская армии не грабили территории, на которые они вступили.*

— Неужели вы не понимаете, что шла война, и перед Советской армией стояла задача дойти до Берлина и занять половину Германии. На освобожденных территориях царил двоевластие.

тие — мы и советское командование. Выход был только один. Мы торопились как можно скорее избавиться от советских военных комендантов и взять власть в свои руки. Это, однако, требовало времени. Представителем СССР в Польше был Булганин, и мы действовали через него, а иногда — непосредственно через Молотова, с которым у меня были более близкие отношения, чем со Сталиным. Сталин понимал наши проблемы и, надо честно признать, старался помочь нам. Так, например, когда наши вошли в Хелм и Люблин (я тогда, к сожалению, болел воспалением легких и вынужден был отложить свой приезд в Польшу на 10 дней, но от Центрального Бюро коммунистов там уже были Минц и Радкевич) и стали налаживать связи с военной комендатурой, советский комендант — генерал Жуков из НКВД — вдруг издал распоряжение, чтобы польские граждане сдали радиоприемники. Наши были возмущены. Это было нарушением договоренности о наших полномочиях и свидетельствовало о несерьезности отношении к нам. Когда Минц при встрече со Сталиным рассказал об этом приказе и что издал его именно Жуков, Сталин отреагировал одним словом — „убрать“. И Жукова сняли. Его послали в новосибирское НКВД. Так мы рассчитались с этим господином, который нам много крови испортил. Это было нашей победой. Правда, этому способствовало счастливое стечение обстоятельств: Сталин уже был зол на Жукова, и поступок этого генерала был удобным предлогом для наказания. Это только один пример, что в то время происходило. Мы понимали, что дисциплина необходима, что военные комендатуры нужны, что должны быть и советские базы, но с другой стороны, мы уже функционировали как гражданская власть, и мы должны были постепенно перенимать полномочия и навести порядок в администрации. Сталин это понимал и, как он обещал, хотел передать нам власть.

— *Кто же тогда властвовал над поляками?*

— Мы. По договоренности, все обращения к полякам должны были издавать мы или они, но после согласования с нами.

— На каком основании происходила депортация польских подданных в советские лагеря?

— Красная Армия действительно увозила поляков, но только в рамках самообороны и только во время войны и в самые горячие послевоенные месяцы. Потом это прекратилось.

— Но за это время успели вывезти 40 тысяч поляков (по данным Лондонского правительства), в том числе и моего отца...

— Но ведь он вернулся!

— Три года спустя. Миколайчик в книге „Насилие над Польшей” пишет, что в июне 1944 г. делегация Крайовой Рады Народовой подписала в Москве секретный протокол, в котором содержалось согласие на арест всех подозреваемых в антисоветских настроениях поляков (т. е. практически на арест всех поляков) и на их депортацию.

— Я впервые слышу об этом, и не думаю, что такой протокол существует. Мы такой документ не могли подписать. Более того, в то время мы боролись за освобождение людей и их возвращение в Польшу. Наци представители в Москве неоднократно вели переговоры об этом. Сперва Раабе, потом Едрыховский. Насколько мне помнится, нам удалось добиться освобождения задержанных в Вильнюсе. Я сам ходил к Булганину в связи с этим, но тот уклонялся от ответа. „Надо разобраться”, — говорил он.

— А что Серов?

— Мне ни разу не пришлось с ним встретиться.

— Ни разу? А Стефан Корбонский в книге „От имени Речи Посполитой” писал, что до него дошли слухи о встрече коммуниста номер 1 — Якова Бермана — с генералом Малиновым, т. е. Серовым. Берман пытался убедить Серова, пишет далее

Корбонский, что солдат Армии Крайовой лучше отправить в польские, а не в советские лагеря, это разрядило бы обстановку, но Серов на это ответил угрожающе: „Я очень удивлен, товарищ Берман, что вы стараетесь помочь людям, которые отнюдь не намерены помочь вам в строительстве демократии в Польше, а напротив, будут вам мешать. В лагерях не плохие условия. Если хотите, вы можете убедиться в этом на личном опыте”... После такой недвусмысленной угрозы Берман испугался и больше этой проблемы не затрагивал.

— Это выдумки Корбонского. Я Серова не встречал. Скорее всего, это пересказ моего разговора с послом СССР в Варшаве Лебедевым, который состоялся позже. Об этом разговоре я рассказывал Выщеху — министру просвещения, члену Крестьянской партии Миколайчика. Мы беседовали с ним о сельском хозяйстве и я рассказал, что был у Лебедева и пытался объяснить ему, что с политической точки зрения было бы лучше, если бы все поляки находились на территории Польши. Вначале мы, естественно, держали бы их в тюрьме, а потом постепенно освободили. О лагерях вообще не было речи, и никто мне туда ехать не предлагал. Все это вздор.

— Никто вам не угрожал?

— Нет. И не надо преувеличивать.

— И вы не боялись?

— Нет.

— Значит, вы были согласны, чтобы польских подданных держали в тюрьмах и лагерях Советского Союза?

— Наше согласие или несогласие не имело никакого значения. Лебедев моего мнения не разделял, и больше я ничего не мог сделать. Я мог только сожалеть о случившемся, сознавая нашу беспомощность. Они — со Сталиным во главе — считали, что нас необходимо защищать, что нам необходимо помогать,

ибо мы по глупости просили передать нам солдат Армии Крайовой, которые хотят нас уничтожить. Такого мнения придерживался и Сталин, и никто из нас не мог переубедить его.

— А чем объяснял Сталин тот факт, что в заключении находились польские коммунисты?

— Мы хлопотали об освобождении всех невинно заключенных, о которых нам было известно. Но почему наши попытки были безуспешными, почему ничто не изменилось фактически до 1956 г., остается для меня загадкой до сих пор. Такого рода „поражений” у нас было множество.

— 27 марта 1945 г. под Варшавой, в районе, где не было никаких боев, заманили в ловушку заместителя председателя Совета Министров Польского правительства Яна Янковского, главнокомандующего Армией Крайовой генерала Леопольда Окулицкого и председателя Совета национального единства Казимежа Пужака. Советский генерал Иванов (он же Серов) дал через связных честное слово, что речь идет о переговорах. Его обещание оказалось пустым звуком. Все трое исчезли. На следующий день исчезли 13 лидеров главных политических партий. Партий, которые существовали и действовали под оккупационным режимом. Еще трое исчезнувших — Казимеж Багинский, Юзеф Хацинский и Францишек Урбанский — были представителями польского правительства в Лондоне в „Комиссии трех”. Они были уполномочены вести переговоры о „правительстве национального единства”. Полтора месяца советские власти утверждали, как они в подобных случаях всегда делали, что им ничего не известно о судьбе пропавших без вести. И только в мае в Сан-Франциско Молотов признал, что все они в России и что им предстоит судебный процесс по обвинению в диверсиях в тылу Советской Армии.

— Их арест был для нас неожиданностью. В каком-то смысле мы были шокированы, потому что их арестовали без нашего ведома и нарушили тем самым наши планы относительно „большой четверки” пролондонских партий. Мы надеялись на раскол

между ними и стремились „освободить” из-под их влияния крестьянскую партию. Добиться сотрудничества с крестьянской партией было мечтой Гомулки... Мы наладили связь с ними и начали вести переговоры. Арест этих шестнадцати очень помешал переговорам, вызвал, что было неизбежно, негодование в стране, затормозил все попытки наладить сотрудничество с другими партиями, сделал невозможным перетянуть на нашу сторону и на сторону Советов даже отдельных политиков. Мы решили выступить с протестом против ареста. Берут, Минц, Гомулка и я подписали шифровку в Москву. Я переводил, поскольку лучше всех знал русский язык. Мы написали, что арест шестнадцати затрудняет наше положение, что нам трудно будет склонить на нашу сторону людей и приобрести союзников, что этот арест может нанести нам большой ущерб. Все это, естественно, формулировалось очень осторожно, с оговорками.

— Почему?

— Мы не знали, в чем этих людей обвиняли.

— А разве были юридические основания, по которым польские граждане за „преступления”, совершенные в Польше, должны были предстать перед советским судом?

— Теоретически вы правы, но вы пользуетесь понятиями мирного времени, когда царит порядок. Нам же пришлось осознать — хотя это было и неожиданностью для нас, — что идет война, что на войне гибнут люди и что даже за подозрение в шпионаже расстреливают в течение 24 часов.

— Неправда. Ни британская, ни американская армии во время войны не арестовывали и не убивали героев сопротивления в освобожденных странах.

— Мы не давали на это согласия. „Они” вывезли их без нашего разрешения. Видимо, у них были свои соображения, свои планы, а на наши они не обращали внимания. На нашу шифровку мы тоже не получили ответа.

– Но когда во время суда над ними в июле 1945 г. Миколайчик просил Берута сделать что-то, тот ответил, что его вмешательство могло бы рассердить Сталина и что вообще „нам, в Польше, эти люди сейчас не нужны”.

– Я не верю Миколайчику, тем более, что в его интересах отзываться о нас как можно хуже. Я не знаю, так ли ответил ему Берут, но если даже он сказал ему это, то важно, с какой интонацией. Интонация тоже имеет значение. Я тогда не был в Москве и не принимал участия в переговорах о правительстве национального единства. Но меня уже тогда неприятно поразило, что эти переговоры велись параллельно с процессом.

– Но 21 апреля 1945 г., когда вы подписывали Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве с Советским Союзом – договор, который должен был гарантировать независимость „новой демократической Польши” и помочь ей добиться расцвета и благополучия, – вы должны были потребовать освобождения всех поляков из советских тюрем и лагерей, не правда ли?

– Когда мы подписывали договор, это касалось не только нас и Союза. Он был подписан как компромисс антигитлеровской коалиции. Но что вы хотите сказать?

– Что вы и в тот раз нанесли народу поражение.

– Ничего подобного. Мы принесли ему свободу.

– Свободу?

– Да, свободу. Мы возвращались не для того, чтобы оккупировать страну, мы не о такой роли мечтали. После всех трагедий, которые пережила Польша, мы принесли ей полное освобождение. Мы изгнали немцев, и это что-то значит. Я знаю, это не так просто. Мы мечтали воскресить Польшу, оживить ее. Все наши надежды были связаны с новым государственным строем, какого еще не было в истории. Это был единственный

шанс за тысячелетие, и мы его получили. Правда была на нашей стороне, не иллюзия, не сказка, а историческая правда.

– А конкретно – на вашей стороне были Красная Армия и НКВД...

– Разумеется. Вы говорите, что Красная Армия поддерживала коммунистов – так оно и было. Вы можете утверждать, что мы были в меньшинстве. Ну и что же? История учит нас, что меньшинство, авангард всегда спасало большинство, часто вопреки желанию этого большинства. Иногда меньшинство проигрывало и гибло. Скажем прямо – кто поднимал восстания в Польше? Горстка людей. Достаточно прочитать Жеромского. Он показал, как крестьяне относились к восстанию, как они сопротивлялись ему и как участники восстания отдавали свои жизни за этих крестьян. Так творят историю. Достаточно посмотреть, как происходило освобождение других стран Европы и Азии. Ведь и в Китае мало кто симпатизировал компартии. Кроме того, с большинством, особенно в Польше, всегда дело неясное. Ментальность другая. У нас дворянство было и многочисленнее и сильнее, чем в других странах, и оно было решающей силой. Положение стало меняться лишь в XIX веке, только тогда на сцену вышли другие сословия. Так образовался народ. И, наконец, нас было не так уж мало. Еще до 1920 г. действовали коммунистические ячейки, и на выборах мы получали миллион и даже полтора миллиона голосов. А это была тогда подпольная и гонимая партия.

– Давайте будем точны. 132 тысячи голосов в 1922 г., 900 тысяч – в 1928-м и 850 тысяч в 1930-м. Депутатов от 2 до 17.

– Я вовсе не утверждаю, что весь пролетариат был с нами. Ведь были и крестьянские демократы, и социалисты, и лишь часть поддерживала коммунистов. После войны тоже нашлось достаточно людей, которые поддерживали перемены, и их число увеличивалось изо дня в день. Крестьяне – из-за наделения землей, рабочие – из-за национализации промышленности. Часть

Польской социалистической партии была растеряна и меняла взгляды. Если собрать их всех вместе, то оказалось бы, что нас не так уж мало.

— А советников из Советского Союза вы пригласили сразу же?

— Никто их не приглашал. Сами приехали, по своей инициативе.

— Но вы согласились?

— А как мы могли не согласиться? После смерти Сталина мы их роль ограничили, а до этого такой возможности не было. Сталин считал, что они нам помогают, а не мешают.

— А вы пытались говорить об этом?

— Нет, мы не могли. Сталин не соглашался ни на какие разговоры. Они должны были спасать нас.

— Сколько их было, этих советников?

— Дело не в количестве, а в самом факте их пребывания в Польше. Достаточно было одного в каждом отделе министерства, чтобы его влияние на решения было весьма заметным.

— А разве вы не могли нейтрализовать их, держать подальше от источников информации?

— Это детские разговоры и совершенно бессмысленные. Это были достаточно опытные и хитрые кагебешники, которые великолепно знали все трюки. Нельзя обманывать, если это можно легко обнаружить. Лучше было говорить с ними прямо и откровенно и иногда оспаривать решения.

— С каким результатом?

— По-разному было. Но это неправда, будто их голос был решающим во всем. Лично я редко имел с ними дело. Иногда они приходили знакомиться. Как правило, это были начальники отделов. Беседы мои с ними были короткими. По вопросам, которые они задавали, я догадывался, кто они и откуда, и никогда не ошибался. Но эти встречи носили характер светских бесед.

— Потому что тактику вы разрабатывали по четвергам у Гомулки? Так писал Миколайчик.

— Выдумки. Советские советники находились, главным образом, в органах госбезопасности. Даже если они подсказывали какие-то идеи, то сами в их реализации участия не принимали. Вообще у нас они вели себя не столь нагло, как в других странах. Больше об их работе мог бы рассказать Радкевич, он с ними встречался ежедневно. Он расскажет, если захочет.

— Пока не хочет.

— И не захочет.

— Почему?

— У меня есть соображения по этому вопросу, но высказывать их я не буду.

— Он ихний?

— Нет, наш. Но уж очень послушный. Старый партизан. Был в Центральном бюро коммунистов, а когда основали Польский комитет национального освобождения, Радкевич вошел в него как министр внутренних дел. Я не был в этом комитете. Тогда я занимал должность заместителя иностранных дел и тесно сотрудничал с Особкой-Моравским. Я не имел влияния на распределение должностей в Министерстве безопасности.

— Неужели?

– Позже придумали, что Берман обладал огромной властью, расставлял кадры, решал все и вся, что у него была прямая телефонная связь с Берией, что он обо всем советовался с ним и выполнял его указания. Это ерунда. О некоторых делах я знал, не скрываю, и высказывал свое мнение – положительное или отрицательное. Но я никогда не звонил Берии, даже когда бывал в Москве. А там я бывал ежегодно раза по два-три. Я встречался со Сталиным, но Берию видел редко.

– Почему?

– Сталин сам выбирал людей для участия в переговорах и в ужинах с нами и, как видно, Берию не звал. Обычно присутствовал Молотов, часто Микоян. С Микояном мы говорили об экономике. Бывали и другие члены Политбюро, в круг обязанностей которых входили польские проблемы. Но ни разу на этих встречах не присутствовали все члены Политбюро.

– Тогда кто же сформировал ваши органы госбезопасности?

– С 1947 г. за работой Министерства государственной безопасности наблюдал Гомулка, и к этим своим обязанностям он относился очень серьезно. Ему докладывали обо всем. Он мог требовать пересмотра решений, и иногда так и делал. И в таких случаях он интересовался делом до его завершения... Не забывайте, что работа в органах госбезопасности невероятно развращает людей. Возможность произвола, почти полная бесконтрольность портит и губит людей. Многие коммунисты, которые работали в этих органах, сильно изменились...

* * *

– Возьмем 1945–1946 гг. Расстановка сил тогда была такая: на вашей стороне 300 тысяч солдат Красной Армии, 230 тысяч в органах безопасности, 200 тысяч солдат польской армии, 120 тысяч – милицкий резерв (тогда принудительно мобилизовывали), 350 тысяч членов Польской рабочей партии... Против вас – 24 миллиона истощенных оккупацией, но не по-

корившихся людей. Крестьянская партия Миколайчика (ПСЛ) – 850 тысяч; Польская социалистическая партия – 200 тысяч; церковь, которую поддерживает 90% поляков. Какой у вас тогда был план?

– План чего?

– *Покорить или уничтожить – гениальный план.*

– (с улыбкой). План был не так уж гениален, а его реализация – тем более. Так я его оцениваю сейчас, на основе фактов, а не догадок. Период, когда мое участие было активным, можно разделить примерно так: 1944–1948, 1949–1953, 1954–1956. Возьмем первый период с 1944 по 1948 гг. Гражданская война продолжается. Страна дестабилизирована, мы еще не признанная власть. Благодаря Гомулке – и в этом его большая заслуга – мы справились с положением. Он тогда был на подъеме. Он первым стал вводить советскую систему в Польше – модель не идентичную, но довольно похожую. Глубоко уважая национальные традиции, Гомулка сумел преодолеть это и повел Польшу по новому пути, совершенно иному по сравнению с тысячелетним прошлым. Новый облик Польши был ведущей идеей его жизни, и он посвятил этой идее все свои способности, энергию, настойчивость, ум – ограниченный, согласен, но все же. Жаль, что он так часто был подвержен сомнениям, колебаниям, комплексам, сознавая, как многого он не знает. Обстановка была очень сложной. Стоит заглянуть в документы Пленума Польской Рабочей партии, который состоялся в мае 1945 г., через пару месяцев после освобождения Варшавы. Ведь кроме борьбы с противником шла еще фракционная борьба внутри партии.

– Как всегда, борьба на двух фронтах.

– Да, именно так. Ясный-Завадский и Конопка были под обстрелом. Ясного, кажется, на некоторое время вышвырнули из партии. Сейчас эти документы читаются как детектив.

– Кто-то из катовицкой делегации предложил тогда присоединить Польшу к Советскому Союзу?

— Не помню. Но помню потрясающую речь Минца. Он откровенно говорил тогда о всех наших трудностях, о том, что происходит в Польше, и о том, как мы, несмотря ни на что, стараемся укрепить власть. Ведь когда мы пришли к власти все ждали войны и въезда на белом коне Андерса, который все изменит. Интеллигенция бойкотировала нас и даже профессор Райхер — умная женщина, директор ревматологического института, в котором работала моя жена, сказала ей: „Зачем вы лезете в партию, ведь скоро все рухнет”. Подобные проявления „внутренней эмиграции” существуют и сейчас. Существовали они и тогда и были даже сильнее. Можно работать в больнице, лечить людей, но стыдно работать в Министерстве здравоохранения, потому что работа там означает принадлежность к аппарату власти, а это недостойно поляка. Но такой бойкот не может продолжаться слишком долго и охватить все слои населения. И действительно, в этой стене нам удалось пробить брешь. Нашей главной задачей были дифференция общества и создание новой элиты. Довоенную интеллигенцию мы решили использовать максимально и привлечь ее к строительству социализма. Нам удалось включить в работу Болеслава Кружинского — специалиста горного дела, Евгениуша Квятковского — до войны он был заместителем председателя Совета Министров — строителя Гдыни. Большую роль в этом сыграл Минц, он знал, как подойти к ним, как убедить их сотрудничать с нами.

— Но в 1947 г. вы выбросили Квятковского.

— Холодная война. Кружинский остался. В то же время мы старались создать новую элиту — рабоче-крестьянскую, которая сможет заменить старую. Были предприняты огромные усилия в области просвещения (ликвидация безграмотности) и по распространению культуры. Именно поэтому были предоставлены огромные привилегии рабоче-крестьянской молодежи особенно при поступлении в вузы. Но это было не просто — вузы и особенно Краковский университет — относились к новой власти враждебно. Пришлось бороться.

— За всеобщее обязательное образование, которое было организовано еще до войны?

— Не в этом дело. Мы боролись за новое лицо Польши, не похожую на ту, которая существовала раньше. За тысячу лет польской истории накопились комплексы, сформировался ряд понятий, взглядов, убеждений, верований. И вдруг пришли люди — не важно откуда: из Москвы, или из той же Польши — и стали все ломать и менять. Передвинули границы — вперед на Западе, назад на Востоке; изменили критерии оценок, взгляды и теории. Не знаю, в правильном направлении мы шли или нет, но революция меняет старые привычки, структуры и мифы, глубоко укоренившиеся в сознании людей. Строит новые. Вы думаете, это было просто? Необходимо было провести ломку. Это была война. Она продолжается до сих пор, и люди до сих пор не понимают ее смысла. Уверяю вас, если бы одно временно не восстанавливали жизнь в стране, не строили промышленность — мы бы не удержались у власти. Мы сумели репатриировать миллионы людей. Мы заселили в короткий срок земли на Западе. Борьба за эти земли была нашей главной задачей в первой пятилетке. Мы победили, и даже крестьяне с территории за Бугом, которые были настроены враждебно по отношению к нам, приезжали на западные земли, понимая, что для них там начнется новая жизнь. Я согласен, что сначала им там было трудно, но потом, когда они уже обосновались, перед ними открылись новые перспективы. Ведь все стало по-другому. Они стали жить лучше, зажиточнее. Не сравнить с хатами и клочками земли, которые у них были на старом месте.

Естественно, что потом возникли новые вопросы — самостоятельная мы страна или не полностью. Кто настоящий поляк, а кто не совсем. Не все наши расчеты оправдались, но общий баланс не так уж плох. Сейчас он деформирован и искажен тем, что произошло в 1980–1981 гг. Мы как бы откатились назад, потеряв многое, за что боролись раньше. Но время берет свое, как это было в первые послевоенные годы. Время и соответствующая тактика. Нам в более трудных условиях удалось заручиться поддержкой инженеров, экономистов, архитекторов... Архитекторов мы привлекли идеей восстановления Варшавы. Это стало для них делом чести. Нашли мы поддержку и в среде писателей, на которых мы старались воздействовать всевозможными методами — организовали журнал „Кузница”

ражено темпами укрепления новой власти, но потом объявило нам войну. Бывали случаи, когда солдаты Армии Крайовой переходили к нам, в нашу армию, но в некоторых районах борьба продолжалась, особенно в Белостокском, Люблинском и Жешувском. Позже была попытка воздействовать на нашу армию. В одном полку началось дезертирство.

-- И всех пойманных солдат вывезли в Сибирь...

— Вы преувеличиваете. У меня нет таких данных.

— В ноябре 1945 г. в окрестностях города Тарнобже за со- зыв собрания в память Винцента Витоса было арестовано 500 мужчин. В районе города Остров Велькопольский 150 человек были брошены в лагерь, в котором до того держали немцев. В Кенне из домов выволокли 300 человек, большинство их ни- когда не вернулось домой.

— Мне эти факты неизвестны, и не понимаю, зачем о них писать. Это во вред делу и лишь создает ореол подполью. Во- первых, в Польше происходила революция. А революция — это жертвы, таков ее закон, и ничего не поделаешь. Армия Француз- кой революции покорила Европу. Разве тогда не гибли люди? Вы сейчас скажете, что во Франции за революцию было боль- шинство, а в Польше нет. Это неправда. У нас были сторонники. Во-вторых, когда мы брали власть, обстановка была неустойчи- вой, а мы вели войну. Они стреляли в нас, мы стреляли в них. И часто мы их уничтожали. Безжалостно. Но ведь гибли и парти- заны, и партработники, и наши гебешники, и солдаты. На доро- гах задерживали всех подозрительных. Мою жену тоже однажды остановили.

— Но потом отпустили?

— Ну и что же? Одних отпускали, других нет. А почему в нас стреляли? Ведь не из спортивного азарта, а чтобы сверг- нуть нас и самим придти к власти. Вопрос стоял так: или мы, или они. На насилие мы вынуждены были отвечать насилием.

— Кристиан Керстен — автор „Политической истории Польши — 1944—1956 гг.” пишет: „Масштабы репрессий были огромны — они совершенно не соответствовали масштабам сопротивления. Репрессиям подвергались не только те, кто выступал с оружием в руках, но и те, кто занимался политичес- кой деятельностью, предусмотренной Ялтинскими соглашения- ми. Массовым репрессиям подверглось крестьянское население. Сообщение о 50, а перед выборами в Сейм о 100 смертных при- говорах в месяц печатались в газете „Глос Люду” („Голос на- рода”). Сообщения о смертных приговорах помещали рядом с ценами на картошку и лук. 100 тысяч, а по другим данным 150 тысяч, сидели в тюрьмах и подвалах госбезопасности”.

— Это просто глупости. Я этих цифр не знаю. Но поймите принцип. Я не утверждаю, что в Польше шла гражданская война, но нечто подобное имело место. А в гражданской войне правда либо на одной стороне, либо на другой, но не на обеих. Я не от- рицаю, что молодежь в лесах была идейной, но боролась она за неправое, заранее обреченное на провал, дело...

— Их было всего 20 тысяч, а в лесах лишь несколько ты- сяч человек. В кого же вы все-таки стреляли?

— Не знаю, сколько их было. Стреляли, что же нам было делать? Дать себя перестрелять? Или поднять руки вверх и сдаться? Ведь это привело бы к полной катастрофе. Пришли бы Советы и уничтожили все. Все! Я не понимаю вашей логики.

— Но ведь вы объявили, что Польша — независимое госу- дарство.

— Так и было! Это был определенный исторический этап. Его необходимо было преодолеть, и мы его преодолели. Иначе невозможно было это сделать. Понемножку страсти успокаива- лись, напряженность уменьшалась или, вернее, переместилась в другую сферу.

— Зачем нужен был референдум?

— Это была проверка перед предстоящими выборами. Она позволила нам разобраться в настроениях...

— *Что же эта проверка показала? По данным Крестьянской партии, неполным, естественно, в 2004 избирательных округах (из 11070) против вас голосовало 83,54%.*

— Я не могу сказать, где за нас голосовало большинство, а где голосовали иначе.

— *Почему вы не обнародовали правдивых данных?*

— Если хочешь удержать власть, так поступать нельзя. Если бы у нас была альтернатива: победим — остаемся у власти, проиграем выборы — отдаем власть, то тогда мы могли бы сказать правду. Но мы были в особом положении, и на каких бы то ни было выборах не могли считаться с критерием, кому было отдано большинство голосов, потому что некому было отдать власть. Не было тогда, нет и сегодня.

— *Не понимаю.*

— А кому мы могли отдать власть? Миколайчику? Или еще более правым? Или черт знает кому? Вы сейчас скажете, что это было бы соблюдением демократических принципов. Ну и что? Кому нужна такая демократия? Впрочем, сегодня тоже нельзя провести свободные выборы, тем более сегодня, потому что обстановка еще хуже, чем 10—20 лет назад, мы проиграем. В этом я не сомневаюсь. Так зачем же устраивать выборы? Разве только, если бы решили показать себя такими сверхдемократами, сверхджентельменами, снять цилиндры, поклониться и сказать: „Мы уходим на пенсию, пожалуйста — власть ваша“.

— *Да!*

— (кричит) Что значит „Да“?! Почему вы говорите „да“?!

— *Потому что именно так вы и должны были поступить.*

— Я не хочу грубо выражаться.

— *А я это сделаю. Вас всех ненавижу.*

— Ну и пусть. Политикой не занимаются для удовольствия. И не для того, чтобы вас понимали или любили. Сейчас плохо, я знаю. Но я также знаю, что это исправимо, и **МЫ** это исправим. Может, я до этого не доживу, но когда-нибудь исправим. Польша не обречена на гибель, на полную гибель.

— *Народ считает вас причиной всех несчастий, которые выпали на его долю. Разве вы не видите этого?*

— Это из-за невежества! (кричит) Да, из-за невежества! Нельзя сейчас мыслить понятиями XIX века. Возникли две сверхдержавы, разделившие сферы влияния. Мы оказались в советской сфере. Это счастье, потому что благодаря этому, мы смогли изменить облик страны. Конечно, есть много ограничений, которым население, естественно, сопротивляется, потому что народ был воспитан на иных традициях. Но ведь люди меняются. Они меняют взгляды, когда меняется действительность...

* * *

— *Так вот, в июльском манифесте от 22 июля 1944 г. говорится: Польский комитет национального освобождения торжественно обещает восстановить все демократические свободы — равенство граждан независимо от расы, вероисповедания и национальности; свободу политическим организациям, профсоюзам, свободу печати и убеждений...*

— Вы не учитываете, когда это было написано. Мы обещали также национализацию средств производства и утверждали, что собственность будет отобрана только у немцев (что было сделано), а польским капиталистам и помещикам, которые принимали участие в сопротивлении, мы предлагали пожизненную пенсию

или единовременное вознаграждение. Мы не исключали возможности денежного вознаграждения и для иностранных капиталистов из стран антигитлеровской коалиции. Тогда так нужно было сделать – для союзников. Позже мы все модифицировали. Сначала вводили государственное руководство предприятиями, а потом, по мере обострения классовых противоречий, расширили сферу национализации...

– Год спустя, в Москве, во время переговоров с Миколайчиком о временном правительстве национального единства Гомулка кричал: „Завоеванную нами власть мы не отдадим никогда! Можете кричать, что льется кровь польского народа, что страной правит НКВД! Перед вами выбор – либо согласиться и сотрудничать с нами в деле возрождения Польши, либо – до свиданья!“ Так вот тогда вы согласились, чтобы в состав правительства вошли и довоенные партии, чтобы Крестьянская партия получила треть постов. Вы обещали, что выборы будут всеобщими, пропорциональными, тайными и прямыми. Но вы не сдержали слова. Вы объявили амнистию для солдат Армии Крайовой, а потом вы этих солдат арестовывали. Вы обещали, что Красная Армия и все другие органы иностранных государств – штатские, партийные, госбезопасности – покинут страну – и это оказалось ложью.

– Что вы, собственно говоря, хотите этим сказать?

– Что вы все время лжете.

– Минуточку. Мы по-разному говорим о различных вещах, о различных событиях в различные времена. В 1945 г. на вещи смотрели с одной точки зрения, а в 47-ом – с другой. Не говоря уже о 49-ом. Но цель у нас была та же: создать новую Польшу – национально однородную, без безграмотных, с развитой промышленностью, с высоким уровнем цивилизации, с развитой культурой...

– И чтобы Польша стала такой, парни из госбезопасности сожгли 300 домов в селении Вавольница около города Пулавы,

держали Яна Троку из деревни Старгард в подвале, погрузив его ноги в замерзшую воду, подвешивали людей за ноги и вливали воду в нос; затягивали обручи на голове, вгоняли иголки под ногти заключенным в Бохни; били по пяткам – в Кракове, Лодзи и Рыбнике? Убийства, поджоги, пытки... В таких масштабах этого не было в Польше никогда, но это стало частью избирательной кампании во время „референдума“ и во время выборов, в которых первый и последний раз участвовала Польская крестьянская партия. Вы должны были победить еще до голосования, как этого хотел Сталин.

– Вначале действительно был произвол. Было много арестов и приговоров, иногда несправедливых и ничем не обоснованных. Однако надо понимать, что угроза порождает страх, угроз было много. Шла борьба против банд. Действовало вооруженное подполье, опирающееся на Польскую крестьянскую партию, что очень усложняло ситуацию и ставило в затруднительное положение даже Миколайчика, который не смог противостоять соблазну борьбы.

Мы предложили им действовать совместно и дали „оппозиции“ максимальное число мандатов, считая, что таким образом мы избежим неожиданностей в избирательной кампании и что потом не нужно будет совершать каких-либо нечестных поступков. Не получилось. И виноват господин Миколайчик. Я лично вел переговоры со Швалбе, который был связным между нами и Польской крестьянской партией. Вначале мы предложили им 25% мест в Сейме, а затем – треть. Больше мы дать не могли, так как мы хотели вместе с другими партиями – новой крестьянской партией, социал-демократической и социалистической – получить большинство. Миколайчик, однако, требовал 75%. Его требование было совершенно нереальным, фантастическим. Мы не могли отказаться от контроля над страной – ведь рухнули бы все наши представления о будущем Польши. Мы были согласны дать им возможность участвовать в правлении. По существу, это был какой-то вариант плюралистического решения. Однако крестьянская партия отвергла наши условия.

— Тогда-то и пришлось фальсифицировать результаты выборов?

— Поставим вопрос честно. Могли ли мы этого избежать? Можно было не скорректировать результаты выборов, если бы оказалось, что они означают капитуляцию?

— Честнее было бы вообще не проводить выборов.

— Кажется, что это простой выход из положения. Но такое решение было невозможным, потому что оно нарушило бы международные обязательства, а от их выполнения зависело признание нашего правительства. Плохо, что у Миколайчика не хватило ума понять это и ограничиться ролью лояльной оппозиции. Может быть, все бы тогда развивалось по-другому.

— Как?

— Быть может, если бы он ушел в отставку или бежал не через несколько месяцев, а позже, скажем, года через два, когда мы уже смогли бы накопить некоторый опыт работы с оппозицией, партии было бы легче — и тогда, и сейчас...

Перевод Ежи Беккера

(Продолжение в следующем номере)

НАУКА И ТЕХНИКА

Марк Кучмент

АКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕХНОЛОГИИ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И НАЧАЛО СОВЕТСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ*

В контексте этой статьи термин „активный перенос технологии” будет относиться к переходу технически подготовленных профессионалов из Соединенных Штатов в Советский Союз — в противоположность пассивному переносу технологии, т. е. передаче идей либо технологических установок из одной страны в другую. В данном конкретном случае я коснусь карьеры двух американских эмигрантов, двух специалистов по электронике, которые получили образование в Соединенных Штатах и которые были известны в Советском Союзе соответственно как Филипп Старос и Иосиф Берг.

Между 1956 и 1973 годом они создали очень хорошо себя зарекомендовавшее конструкторское бюро, которое проектировало и производило в экспериментальном порядке первые советские малые компьютеры. Старос и Берг также считаются основателями в Советском Союзе новой области вычислительной технологии, которая в России называется микроэлектроникой.¹ Примерно четыре года назад в процессе интервьюирования советских ученых-эмигрантов я первый раз услышал историю двух американских инженеров, которые сделали

* Расширенный вариант статьи The beginning of Soviet microelectronics, Physics Today, Sept. 1985.